

Предисловие к новому изданию

С тех пор как двадцать пять лет назад вышла эта книга, многие охотно писали, что это первый “экологический” роман, первый крик о помощи, первый призыв к защите нашей находящейся под угрозой биосферы. Между тем я даже не представлял себе тогда всю меру опасности и масштаб творившихся разрушений.

В 1956 году я сидел за столом у замечательного журналиста Пьера Лазарева. Кто-то произнес слово “экология”. Из двадцати человек, присутствовавших там, лишь четверо знали, что оно означает.

Сейчас, в 1980 году, можно оценить пройденный путь. Во всем мире активизируются силы защиты во главе с решительно настроенной молодежью. Молодые не знают, конечно, имени Мореля, героя моего романа, пионера этой борьбы. Но это не важно. Сердце не нуждается в другом названии. Люди во все века делали все возможное, чтобы сохранить какую-то красоту в жизни. Какую-то естественную красоту...

Я выбрал местом действия Французскую Экваториальную Африку¹, как это называлось в 1956 году, потому что я там

1 *Французская Экваториальная Африка* — колониальное владение Франции в Центральной Африке в 1910–1958 гг., включавшее Среднее Конго (Республика Конго), Убанги-Шари (ныне Центрально-Африканская Республика), Французский Чад (с 1920 г.). (*Здесь и далее — прим. ред.*)

жил, а может быть, еще и потому, что помню: именно ФЭА была первой территорией, отозвавшейся некогда на знаменитый призыв не покоряться и не отчаиваться¹, и отказ моего героя примириться с несовершенством человеческой природы и нашим жестоким земным уделом ассоциировался у меня с другими легендарными днями...

Времена не сильно изменились после выхода этой книги: политики все так же легко продолжают распоряжаться судьбами народов во имя права народов на самоопределение. Осознание экологических проблем сталкивается с тем, что я назвал бы бесчеловечностью человечества. Прямо сейчас, когда я пишу эти строки, стало известно, что в Зимбабве уничтожили 1200 слонов, чтобы уберечь среду обитания другого биологического вида... Никакая философия, никакая религия это фундаментальное противоречие так и не смогли разрешить.

Что касается охраны природы в более общем, глобальном смысле, то в ней, безусловно, нет ничего чисто африканского — мы уже давно кричим об этом во всю глотку. Такое впечатление, что и права человека тоже становятся громоздкими реликтами минувшей геологической эпохи — эпохи гуманизма. Слоны из моего романа не символы, они из плоти и крови, как, собственно, и права человека.

И хочу еще раз поблагодарить тех, чье дружеское участие неизменно поддерживало меня, когда я в нелегких условиях работал над этим романом: Клода Эттье де Буаламбера, профессоров де Хоорна, Рене Ажида, а также Жана де Липковски, Ли Гудмана, Роже Сент-Обена и Анри Опно, которым посвящена эта книга.

1956–1980

1 Автор имеет в виду знаменитое выступление Шарля де Голля 18 июня 1940 г., давшее толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны.

Часть первая

Г Л А В А I

Дорога с рассвета шла по холму, сквозь заросли бамбука и трав, где и лошадь и всадник зачастую совсем пропадали из виду; потом снова появлялись белый шлем иезуита, крупный костистый нос, мужественный насмешливый рот и пронзительные глаза, которым куда привычнее было созерцать безбрежные просторы, чем страницы требника. Будучи высок ростом, он плохо умещался на пони по кличке Кирди; ноги, покрытые сутаной, упирались в слишком короткие стремяна и были согнуты под острым углом — всадник порою чуть не вываливался из седла, когда резко поворачивал свой конкистадорский профиль, чтобы полюбоваться пейзажем: горы Уле производили на него какое-то особое, радостное впечатление. Три дня назад он оставил раскопки, которые возглавлял по поручению французского и бельгийского институтов палеонтологии, и, проехав часть пути в джипе, вторые сутки подряд трясся в сопровождении проводника верхом через заросли, направляясь к тому месту, где должен был находиться Сен-Дени. Проводника он не видел с самого утра, но тропа шла прямо, и временами впереди слышались шелест травы и стук копыт. То и дело его одолевала дремота, нагоняя

дурное настроение: он не любил вспоминать о своих семидесяти годах, но после семи часов, проведенных в седле, уже не мог справиться с некоторой приятной расслабленностью, которую осуждали совесть служителя церкви и разум ученого. Иногда он останавливался и поджидал слугу с лошадьёю, которая везла ящик с кое-какими интересными обломками — результатом последних раскопок — и рукописями — с ними он не расставался никогда. Дорога поднималась не очень круто; у холмов были мягкие склоны, порой они начинали шевелиться, оживать — там двигались слоны. Небо, как всегда, было непроницаемым, дымчатым, светящимся, затянутым испарениями африканской земли. Даже птицы, казалось, могли в нем заблудиться. Тропа пошла вверх, и на одном из поворотов иезуиту открылась долина Ого, поросшая густой курчавой растительностью, которая ему не нравилась, она так же отличалась от величественных лесов экватора, как грубая щетина от пышной шевелюры. Он рассчитывал добраться до места в полдень, но лишь к двум часам дня поднялся на вершину холма.

Перед палаткой директора заповедника он увидел слугу, который, присев у догоравшего костра, чистил котелки. Иезуит сунул голову в палатку, где на походной койке спал Сен-Дени. Гость не стал его будить, подождал, пока и для него самого поставят палатку, привел себя в порядок, выпил чаю и немного поспал. Проснулся он с ощущением усталости во всем теле. Полежал какое-то время, вытянувшись на спине, подумал, как грустно, что ты так стар, что времени у тебя осталось немного и надо довольствоваться теми знаниями, которые ты успел приобрести.

Наконец он выбрался наружу и нашел Сен-Дени, который курил трубку и глядел на холмы, еще освещенные солнцем, но уже словно бы тронутые неким пред-

чувствием. Сен-Дени был невысок ростом и лыс, щеки его заросли косматой бородой, а глаза, занимавшие, казалось, чуть не все изможденное лицо с высокими скулами, были прикрыты очками в стальной оправе; узкие, сутулые плечи говорили о сидячем образе жизни, хотя их обладатель и являлся последним хранителем огромных африканских стад. Мужчины немного поболтали об общих знакомых, обменялись слухами насчет войны и мира, потом Сен-Дени расспросил отца Тассена о работе; его особенно интересовало, правда ли, что в связи с последними открытиями в Родезии можно утверждать, будто Африка действительно колыбель человечества? Наконец иезуит задал свой вопрос.

Сен-Дени словно и не удивился, что видный член знаменитого ордена в возрасте семидесяти лет, имеющий среди миссионеров репутацию человека, гораздо более занятого наукой о происхождении человека, чем спасением души, проехал два дня верхом, чтобы расспросить о девушке, чья красота и молодость, казалось, не должны интересовать ученого, привыкшего вести счет лет на миллионы и целые геологические эпохи. Поэтому отвечал он откровенно, со всевозрастающим жаром и странным чувством облегчения. Потом он не раз спрашивал себя, не приехал ли отец Тассен только для того, чтобы помочь ему сбросить бремя одиночества и воспоминаний, которые так его угнетали? Иезуит слушал молча, с какой-то отчужденной вежливостью, ни разу не пытаясь помочь утешениями, коими так славилась его религия. Разговор затянулся до ночи, но Сен-Дени продолжал свой рассказ, прервавшись лишь однажды, чтобы приказать слуге Н'Голе разжечь костер. Пламя сразу же прогнало с неба последний свет, и им пришлось отодвинуться от огня, чтобы не лишиться общества холмов и звезд.

Г Л А В А 11

— **Н**ет, я не могу утверждать, что хорошо ее знал, — говорил Сен-Дени, — но много о ней думал, а это тоже способ общения. Она не была со мной откровенна и даже честна. Из-за нее меня лишили управления округом, которым я так дорожил, и поручили надзор за заповедником, за этими громадными стадами африканских животных. Мои наивность и доверчивость доказывали, что я куда больше приспособлен управлять животными, чем людьми. Я не жалею, наоборот, считаю, что со мной поступили даже мягко — меня ведь могли просто-напросто выслать из Африки, а в моем возрасте такую встряску и не переживешь. Что же касается Мореля... О нем уже все сказано. Думаю, этот человек в своем одиночестве зашел еще дальше других, а это, между прочим, большое достижение, ибо если уж побивать рекорды одиночества, каждый из нас может стать чемпионом. Он часто приходит ко мне в бессонные ночи — сердитый, с тремя глубокими складками на высоком упрямом лбу под взъерошенными волосами, держа свой знаменитый портфель, набитый петициями и воззваниями в защиту природы, с которым не расставался.

Я часто слышу его голос с неожиданными для образованного человека простонародными нотками: “Все очень просто. Собак нам уже мало. Люди ощущают себя до смешного одинокими, им нужно общение, им нужно нечто крупное, могучее, на что можно положиться, нечто и в самом деле обладающее стойкостью. Собак людям уже мало, им нужны слоны. Поэтому я не хочу, чтобы их трогали”. Он заявляет это совершенно серьезно, стукнув по прикладу карабина, словно желая придать весу своим словам. О Мореле говорили, будто человечество приводило его в отчаяние и он был вынужден защищать свою чрезмерную ранимость с оружием в руках. Говорили без шуток, что он анархист, который решил пойти дальше других, порвать не только с обществом, но и с родом человеческим; эти господа приписывали ему стремление “выйти из человечества”, не иметь с людьми ничего общего. Причем всей этой чепухи им было мало, я нашел в Форт-Аршамбо старые журналы с совсем уж глубокомысленным объяснением. Оказывается, слоны, которых защищал Морель, всего-навсего символы, и даже символы поэтические, а этот бедолага мечтал о чем-то вроде исторического заповедника типа африканских, где запрещена охота и где все наши ценности, нелепые, громоздкие и уже нежизнеспособные, как и наши старые права человека — тоже пережитки ушедшей геологической эпохи, — будут сохранены просто для красоты и для воскресной школы наших правнуков. — Сен-Дени беззвучно рассмеялся и покачал головой. — Что тут сказать. Мне тоже не все понятно, но придумать такое!.. Я вообще больше руководствуюсь сердцем, чем разумом, такая у меня натура, и думаю иногда, что так легче что-либо понять. Поэтому не ждите от меня чересчур мудрых рассуждений. Могу лишь предложить кое-какие обломки истории, в том числе себя. А в общем, по-

лагаюсь на вас — вы ведь привыкли иметь дело с раскопками, так сказать, восстанавливать истину из осколков. Говорят, будто в своих сочинениях вы предрекаете эволюцию нашей породы к совершенной духовности и всеобщей любви и что якобы этого можно достичь очень быстро, — полагаю, что на языке палеонтологии, который не вполне соответствует языку человеческих страданий, слово “быстро” означает какие-нибудь ничтожные сотни тысячелетий и что наше старое христианское понятие спасения вы рассматриваете чуть ли не как биологическую мутацию. Признаюсь, мне трудно представить, какое место займет в такой грандиозной перспективе бедная девушка, помогавшая утолять далеко не духовные потребности. Ну ладно, допустим, что сойдет и Минна, я ведь знаю, какую скромную, но необходимую роль играют в Священном Писании блудницы, но какое место в ваших теориях и ваших пристрастиях может занять такой человек, как Хабиб, какой смысл можно придать беззвучному смеху, от которого столько раз на дню и без видимой причины трясется его черная борода, когда, растянувшись в шезлонге на террасе “Чадьена”, натянув морскую фуражку, непрерывно обмахиваясь бумажным веером, украшенным пурпурной маркой американского лимонада, и жуя мокрую погасшую сигару, он смотрит на искрящиеся воды Логона? Надо сказать, что, если вы ехали сюда, чтобы узнать причину этого вселенского смеха, ваши два дня верхом пропали не совсем даром. Я могу предложить свое объяснение. Знаете, я много об этом думал. Мне даже приходилось просыпаться в палатке одному как перст, глядя на самый прекрасный пейзаж в мире — я говорю о ночном африканском небе, — и спрашивать себя, что за причина может заставить такого негодяя, как Хабиб, беззаботно и весело смеяться? И пришел к выводу, что этот наш ливанец —

человек на редкость хорошо приспособленный к жизни и взрывы утробного смеха означают, что он с этой жизнью в ладу, их взаимопонимание и полное, нерушимое согласие — просто счастье, да и только. Из них получилась прекрасная пара. Вы, пожалуй, сделаете тот же вывод, что и кое-кто из моих молодых сослуживцев: Сен-Дени стал отщепенцем, сварливым злыднем, “он уже не наш”; ему место среди диких зверей, в заповедниках, куда его благоразумно и заботливо сослало начальство. Но все же трудно было не поражаться тому здоровью и довольству, которые излучал Хабиб, его геркулесовой силе, земной устойчивости, глумливому подмигиванию, не адресованному никому конкретно, обращенному, казалось, к самой жизни, а помня, до чего удачлива была карьера этого прощелыги, нельзя было не сделать кое-каких выводов.

Вы же наверняка знали его не хуже меня, когда он заправлял делами отеля “Чадыен” в Форт-Лами¹ вместе со своим молодым подопечным де Врисом, после того как это заведение во второй или третий раз перешло из рук в руки, — раньше дела там шли не блестяще. По крайней мере, пока не появились господа Хабиб и де Врис, которые открыли бар, выписали барменшу, устроили танцпол на террасе над рекой и стали щеголять всеми признаками растущего благосостояния, истинные источники которого обнаружались гораздо позже. Де Врис делами отеля не занимался. В Форт-Лами его видели редко. Большую часть времени он проводил на охоте. Когда Хабиба спрашивали, куда делся его компаньон, он беззвучно смеялся, а потом, вынув изо рта сигару, делал широкий взмах рукой в сторону реки, голенастых пеликанов, которые рассаживались в сумерки

1 *Форт-Лами* — ныне Нджамена, столица Республики Чад.